

ГОД назад в журнале «Иностранная литература» печатался роман, переведенный с чешского языка. Он называется «Если покинешь меня»... Это обращено не от любящего к любимой, а от матери-родины к своему сыну. Двумя строками замечательного стихотворения родина говорит: Если ты покинешь меня, я не погибну; но если я оставлю тебя,— ты погибнешь. На эту, примерно, тему написан роман, содержание которого пришлось мне много раз, письменно и устно, пересказывать и хочется опять напомнить читателю, потому что есть сказки и мелодии, стихи и рассказы, которые требуют и требуют повторений.

Трое юношей в этом романе, раздраженные трудностями нового строя послевоенной Чехословакии, сговариваются бежать через границу в «американскую зону» Западной Германии. Каждый мечтает о чем-то своем,— но мечты, в общем, схожи,— наесться досыта вкусным, одеться с иголки, делать, что хочешь, ездить по всем странам мира, окунуться в экзотику, в приключения, встретить необыкновенных девушек и необыкновенную любовь,— и все это без обязательного труда, обязательных ранних вставаний, обязательного трудового режима. И они бегут через лесистые горы, переступают, с упоением авантюристов, границу и попадают в лагерь таких же, как они, беженцев. Они получают полуголодный паек; они свободны бездельничать, спекулировать, попрошайничать круглый день, свободны продать свою душу американской разведке, свое тело в войска, отправляемые для умирнения колониальных народов, только одного невозможно получить,— честной работы, поскольку ее домогается множество таких же, как они, домогаются и сами немцы,— а работы попросту не хватает. Работы, от которой они бежали... И трое ребят учатся воровать, сбывать краденое, видят вокруг, в лагерях разлагающихся людей, униженных в собственных глазах, видят чешских хороших девушек, продающих себя американским солдатам за добавку к голодному пайку. Один, бывший спортсмен, срывается с фашизмом; другой, выходец из интеллигентной семьи, не выносит собственного падения и пускает себе пулю в лоб; третий, сын рабочего, самый тощий и физически слабый из всех трех, начинает — как в окошке первые слабые проблески утра — прозревать истину,— простую, ясную, утраченную,— истину в необходимости труда. Не для куска хлеба, не для того, чтоб выбиться, не для того, чтоб собирать, копить, готовить себе возможность в будущем,— вытянуть шею из этой «петли» для безделья... Всем страшным опытом пережитого, всей картиной развала человека и человечности вокруг

себя, третий паренек, Гонзик, прозревает глубокую правду труда как необходимого источника человеческого достоинства, самоуважения, сохранения себя человеком. И в последних страницах романа мы читаем, как Гонзик и спасенная им чешская девушка, в напряжении всех своих сил, под автоматами немцев-пограничников, бегут назад, на чешскую землю, бегут, падая от изнеможения, вот-вот попадая в руки немцев, выкарабкиваясь, задыхаясь, а когда, наконец, они ощущают родную землю под ладонями, как материнскую грудь, читатель вместе с ними испытывает такое счастье, как если бы пережил все это сам,— и сам, наконец, спасся с ними.

Роман получил государственную премию имени Готвальда. Он имеет огромное воспитательное значение для молодежи. В Чехословакии он вышел уже четвертым изданием, а у нас его переделали для сцены. Но мне он был особенно дорог тем, что автор его сумел создать в нем подлинно рабочую, пролетарскую атмосферу, подлинно рабочее чувство труда, как потребности, как условия человеческой жизни. Имя автора — Зденек Плугарж, и мне сказали о нем только то, что живет он не в Праге (куда, как у нас в Москву, стремятся обычно писатели, имевшие успех), а в городе Брно.

Город Брно я давно знала, но к его знакомому профилю с горой, увенчанной развалинами, к его двум костелам,— барочному св. Томаша и старинному готическому св. Якуба (с чудесным органом), к его улицам, старательно записанным в моем дневнике кривульками кустарного «плана»,— сейчас прибавилось нечто, сделавшее Брно всемирно известным городом: ярмарочный городок на окраине. С прошлого (1959) года Брно сделался местом осенней ежегодной международной ярмарки типа Лейпцигской. И первый визит я нанесла этому, мертвому сейчас, городку.

Мы шли по рельсам трамвая втроем,— писатель Владимир Пазоурек, прозаик, пишущий милые и тонкие рассказы,— старомодно благосклонный, с тонкими чертами, чем-то напоминающими Чехова; еще один Владимир, по фамилии Блажек, превосходно говорящий по-русски. Высокоский, розовощекий, из старой марксистской семьи, Блажек сейчас — аспирант философского факультета, пишет диссертацию на тему «Человек и общество в трудах Г. В. Плеханова» и после нее думает заняться Луначарским. Надо сказать, что писатели в Брно вообще серьезный народ. Есть у них прелестный лирический поэт,— Ольдржих Микулашек, но сектор «критиков, философов и редакторов» явно перевешивает по числу сектор лирический, по крайней мере на следующий день, в отделении Союза писателей, где мы встретились, их было гораздо больше.

Итак, шли мы втроем, разглядывая алые выставочные помещения. Колея трамвая проходит повыше над ними, и весь белый городок был нам отчетливо виден с его круглым, блестящим под легким дождиком, центральным павильоном. И тут я узнала от них, что Зденек Плугарж простудился, болеет бронхитом и на завтрашнюю встречу не сможет прийти.

Приехать в Брно и не поговорить с Плугаржем, не увидеть автора любимейшего романа — невозможное дело! Утром следующего дня я сама ехала к нему, на зеленую окраину города, где дома стоят не стена к стене, а в прозелени маленьких садиков, скромными и не очень молодыми двухэтажными зданиями. Квартира, куда мы вошли, чем-то очень напоминала старую московскую интеллигентскую, дореволюционных времен. И вот, наконец, сам Зденек Плугарж,— высокий, смуглый, крепкий брюнет, в домашнем, до полу, теплом халате, с энергичными чертами лица и умным лбом. Настоящий человек с настоящей биографией, уже сложившейся задолго до того, как он стал писателем.

Мы сидим за круглым столом, и милая, хлопотливая хозяйка, жена Плугаржа, поит нас неизменной чешской «кавой», пьющейся здесь так же часто, как в Финляндии. Плугарж может рассказать очень много не только о литературе. Не в пример тем, кто к зрелости переселяется

Мариэтта ШАГИНЯН

из родного города поближе к столице, Плугарж родился в Брно и остался в нем. Вырос в интеллигентной семье, окончил высшее техническое училище, в 19 лет стал инженером и много лет подряд строил плотины. Во время войны Плугарж был арестован и сидел в Терезинской крепости; потом, в начале 44 года, был опять арестован и уже до конца войны заключен в пражскую тюрьму Панкрац. Плугарж не охотник говорить о себе. Он скупо передает факты, и мы сами должны представить себе молодого инженера-турбостроителя в годы хсяйничанья немцев. Разумеется, он не захотел работать для оккупантов; разумеется, не за пустяки сажают в тюрьму Панкрац. Смуглое, пересеченное ранними морщинами, лицо сорокасемилетнего писателя сохраняет живое, деловитое выражение человека, не склонного к чувствительности по отношению к пережитому. Было — прошло. Но было,— и оставило знание людей, обстоятельств, политическую зрелость. Он начал писать очень своеобразно, не «вообще», как начинают многие молодые, а именно как инженер: сперва это были популярные брошюры об инженерном деле, которое он любил и знал; потом роман о тюрьме; и — роман, как, улыбаясь мне, говорит он: о «гидроцентрали», об инженерной среде на строительстве гидростанции. Повод к писанию был всегда тот же самый, какой у настоящих людей бывает поводом к делу: создать нужное, полезное, принести пользу людям. Вряд ли многие начинающие писатели всерьез задумывались над таким поводом; десятки раз слышала я от авторов плохих рукописей: хочу быть писателем; пишу, чтоб выработаться в литераторы; пишу, потому что «мое призвание — писать».

И только редкие люди, никогда ничего не написавшие, говорят профессионалу: «как хочется передать людям многое, многое, что довелось пережить, переживать, передумать». Но именно эти люди и не берутся за перо, не имея дара или — самоуверенности бездарных.

Роман «Если покинешь меня»... Зденек Плугарж писал после 1948 года, когда много чехов и словаков пробралось за границу, по примеру трех героев его романа, а после правительственной амнистии в 1955 году стало возвращаться на родину. Плугарж буквально ловил этих «возвращенцев», выслушивал и записывал десятки их биографий... С ними он побывал воображением и за колючей проволокой западногерманского лагеря для беженцев; и у чехословацких мнимых «властей» в Париже, где они проехали подачки капиталистов; и в Лондоне, на заставленной мебелью квартирке доктора Бенеша; и в экспедиционных корпусах под африканским солнцем,— всюду, всюду, где жгла ноги чужая, враждебная земля, обжигало чужое и чуждое небо, отворачивались чужие люди. И с ними же, словно вдруг обретая что-то родное, встречался он мысленно с пролетариями чужих стран, говорившими единственно близкие слова: «куда, дурачье, убежали вы от родины, где сейчас для всех есть работа и хлеб!» И, скитаясь вместе с рассказчиками, по всем этапам их одиссей, он вынашивал, вскармливал в душе образы своих беглецов и образ немца, пролетария, рабочего-мусорщика, так прекрасно воплощенного им в романе. Совсем недавно в газете «Литерарны нбныи» Зденек Плугарж рассказал читателям, как он навистил прототипов своих героев,— тот, кто чертами своими лег в основу образа Гонзика, работает сейчас в типографии под Карловыми Варами, Катка вышла замуж...

На неизбежный в такой беседе вопрос: «что вы пишете сейчас», Зденек Плугарж встал и принес связку больших исписанных листов, разделенную металлическими скрепками на главы. Это был новый роман о молодежи.

— Меня волнует и остро тревожит проблема, как и почему в нашей республике, где все создано для правильного роста и развития человека, еще существуют дети и молодежь, попадающие на ложную дорогу и даже становящиеся преступниками. Статистика говорит, что та-

ких у нас два с половиной процента от общего количества детей, но фактически, вероятно, их больше... Изучал это, ездил по детдомам, по школам. Прихожу к выводу, что 70 процентов испорченных детей становятся такими в плохих семьях, а процентов 30 — от дурной наследственности, алкоголизма и душевных болезней родителей. Сперва надо вылечивать взрослых, чтоб они не коверкали малышей; а потом — природа, чистый воздух, совместная производственная работа с малых лет, наряду с учебой. Вот — почти кончил. Отредактировал сам уже 5 раз,— и еще буду. А попутно, если вас интересует, даю мою последнюю статью по этому вопросу...

Мы простились с Плугаржем до осени, когда он собирается с женой к нам. И встреча с ним, долгий разговор, где он много интересного рассказывал о чехословацкой интеллигенции, весь круг вопросов, поднятый им,— еще сильнее укрепили во мне одно из основных впечатлений от Чехословакии.

Я была в Брно, как уже сказано, не в первый раз. Хорошо знаю знаменитый его «музей Яначека», где ведется большая исследовательская работа учеными-музыковедами,— доктором Теодорой Старковой, доктором Яном Рацеком,— авторитетом по чехословацкой музыке XVIII столетия, и доктором Отакаром Фиала, изучившим творчество Яначека. В этом уютном музее, вобравшем в себе почти все, что есть в Чехословакии от композитора Йозефа Мисливечка, работала и я над копиями его рукописей. А в этот приезд, при всей его краткости, успела побывать в превосходном здании оперы, на Сметановских «Бранденбургах в Чехии», интересной, редко исполняемой вещи чешского классика; и на репетиции большой кантаты немецкого композитора, Карла Орфа, носящей латинское название «Кармина бурана», исполнявшейся немцами на прошлогодней «Пражской весне» и вот уже ставящейся в Брно. Встретилась, наконец, и с большей частью писателей. И в который раз пережила я то самое основное впечатление от чехословацкой культуры, которое так бесспорно подтвердила и беседа с Плугаржем. Впечатление это состоит в том, что в маленькой Чехословакии нет провинции. Кое-кто стремится еще, не знаю почему, в Прагу (или в Братиславу). Но тот, кто отнюдь не мимоездом, отнюдь не у бензиновой колонки или из окна вагона, видел маленькие города Чехии и Словакии, побывал в их культурных учреждениях, на их предприятиях, познакомился с их людьми,— тот остро пережил в них чувство центра, а не чего-то на отлете, в глуши, за скобками. Каждый город — своеобразный центр, имеющий свою культурную проблематику, свои достижения, свои особенности, которыми он влияет в общую чехословацкую культуру отнюдь не провинциальной струйкой. Превосходно звучала «Кармина бурана» под смелым опытно-го дирижера Пинкаса, с хором моравских учительниц, составляющим гордость всей республики. Превосходно поставлена была опера Сметаны. Интересно рассказывали писатели, критики, редактора о своей работе. Один из них, Антон Згорж, пишет, кстати, сейчас книгу о Надежде Константиновне Крупской и интересовался всеми последними работами о ней. Обобщая впечатления, полученные от Брно, какой-нибудь новичок непременно сказал бы: «Ну, совершенно, как в Праге!»

И ему непременно ответили бы: «Нет, как в Брно».

БРНО.